

## Оглавление

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Глава I . . . . .     | 3   |
| Глава II . . . . .    | 22  |
| Глава III . . . . .   | 33  |
| Глава IV . . . . .    | 49  |
| Глава V . . . . .     | 64  |
| Глава VI . . . . .    | 76  |
| Глава VII . . . . .   | 113 |
| Глава VIII . . . . .  | 124 |
| Глава IX . . . . .    | 147 |
| Глава X . . . . .     | 158 |
| Глава XI . . . . .    | 170 |
| Глава XII . . . . .   | 186 |
| Глава XIII . . . . .  | 199 |
| Глава XIV . . . . .   | 214 |
| Глава XV . . . . .    | 229 |
| Глава XVI . . . . .   | 253 |
| Глава XVII . . . . .  | 265 |
| Глава XVIII . . . . . | 281 |
| Глава XIX . . . . .   | 293 |
| Глава XX . . . . .    | 305 |
| Глава XXI . . . . .   | 323 |
| Глава XXII . . . . .  | 343 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Глава XXIII .....   | 352 |
| Глава XXIV.....     | 364 |
| Глава XXV.....      | 383 |
| Глава XXVI.....     | 399 |
| Глава XXVII .....   | 421 |
| Глава XXVIII .....  | 436 |
| Глава XXIX.....     | 447 |
| Глава XXX .....     | 472 |
| Глава XXXI.....     | 484 |
| Глава XXXII .....   | 496 |
| Глава XXXIII .....  | 512 |
| Глава XXXIV .....   | 527 |
| Глава XXXV .....    | 536 |
| Глава XXXVI .....   | 557 |
| Глава XXXVII.....   | 567 |
| Глава XXXVIII ..... | 586 |
| Глава XXXIX .....   | 606 |
| Глава XL.....       | 620 |
| Глава XLI .....     | 632 |

## Глава I

Да, все умрет; наш мир — лишь сон чудесный,  
И то небольшое, что счастьем нам дано,  
Как камышинки пух — такой прелестный,  
Однако дунет ветерок — и нет его.

*Альфред де Мюссе. Сувенир*

Доктор Олливант одиноко сидел у себя в библиотеке, также служившей ему врачебным кабинетом, — просторной комнате, пристроенной позади его дома на Уимпол-стрит. Рабочий день закончился, он был долгим и трудным, поскольку к тридцати шести годам доктор обзавелся обширной практикой, которая неплохо вознаграждала его за преданность науке, но оставляла мало времени для жизненных удовольствий. Да и вообще сомнительно, что доктор понимал значение слова «удовольствие», — разве что читал его определение в словарях. Его отец был трудолюбивым (и алчным, добавляли окружающие) сельским врачом и с самого раннего возраста, когда детский разум еще так подвержен внушению, стремился привить сыну правильное, с его точки зрения, представление: жизнь предназначена для упорного труда, без которого человеку не достичь

успеха, а мирской успех является высшим благом, к которому может стремиться душа.

Катберт Олливант урок усвоил, но на собственный манер. Не превзойди он умом отца, скорее всего ограничил бы для себя концепцию преемника, как это называл его родитель, «продолжением начатого» — упрочением и совершенствованием отцовской практики, стабильным поддержанием старомодного семейного дела в сонном архаичном городке Лонг-Саттон в Линкольншире. Но паренек оказался наделен таким интеллектом, какой еще не освещал фамильное древо Олливантов в текущем столетии, и для него успех лежал в новизне: использовании современных идей, шаге вверх по лестнице науки или если не в настоящем изобретении, то хотя бы в таком применении мудрости прошлого, которое позволит достичь чего-то нового в настоящем.

Для юноши с такими устремлениями Лонг-Саттон оказался слишком мал. Сэмюэль Олливант чуть не повырывал остатки редких волос, окружавших его лысую макушку, когда, пройдя практику в больницах и завершив обычный курс обучения, сын сообщил ему, что не вернется в ленивый линкольнширский городок, где обретался и благоденствовал его род из поколения в поколение. Отец мог передать старую добрую семейную практику кому угодно. Он же, Катберт, останется в Лондоне — собственно, его уже избрали приходским врачом в густонаселенном районе Бетнал-Грин. Оплата минимальная, весело писал он, зато опыт будет колоссальным.

Мистер Олливант стонал и скрипел зубами; объявил жене, что ее сын — идиот, но ничто из того,

что он мог сказать отбившемуся от рук молодому человеку, не способно было поколебать намерений последнего. В двадцать три года Катберт приступил к работе в окрестностях Бетнал-Грин, упорно трудился там до двадцати шести, и, не считая обязательных визитов в родительский дом на Рождество, в Лонг-Саттоне его больше не видели. Спустя три года неусыпного служения — на памяти старейшего из кураторов таких приходских врачей еще не было — он отправился за границу: учился во Франции и Германии, добрался до Санкт-Петербурга, познакомился со всеми медицинскими школами, а и за пару месяцев до своего тридцатилетия был призван обратно в Англию к смертному одру своего отца.

— Ты совершил огромную ошибку в жизни, Катберт, — сказал старик в тот краткий час, когда был в состоянии здраво поговорить с сыном. — Здесь ты мог обзавестись великолепной практикой, если бы только остался работать со мной в прошедшие семь лет. А так дело пришло в упадок. Я постарел, но мне не хотелось работать с чужим человеком, поэтому так и не взял себе напарника. Филби и Джексон подорвали мои позиции, Катберт, и практика уже совсем не та, какой была в твои школьные годы, когда приносила три сотни дохода в год. И все же я оставляю тебе небольшую, но приятную сумму. Это заслуга твоей матери — в деле экономии ей нет равных.

«Небольшая, но приятная сумма» исчислялась несколькими тысячами — вполне достаточно, чтобы Катберт Олливант сразу после похорон решился на

следующий шаг. Он продал лонг-саттонскую практику Филби и Джексону, которые и так уже контролировали три четверти города, а с этой покупкой установили монополию. Он хотел продать и отцовское имущество, но тут вмешалась мать. Столы и стулья, может, и были устаревшими, громоздкими и неэлегантными, но других за всю свою замужнюю жизнь она не знала.

— Тридцать два года, Катберт, только представь себе!

— Представляю, матушка, и именно по этой причине мне кажется, что новую жизнь нужно начинать с новой мебелью.

— Новая жизнь — это уже не для меня, милый, и я так привязана к этим старым вещам!

Окинув нежным взглядом старинный испанский буфет красного дерева, она продолжила:

— Теперь таких уже не делают...

— Чему я только рад, — заметил нечестивый сын. — Перевозка, вероятно, обойдется дороже их стоимости, но, если они тебе так нравятся, матушка, будь по-твоему. Мне все равно, на каком стуле сидеть. Художественного вкуса у меня нет.

Так что и древний буфет, и секретеры, и комоды, и кровати с балдахинами ушедшей эпохи — вся мебель, пронизанная некой мрачностью, символизовавшей респектабельность, — были перевезены из Лонг-Саттона в дом, который Катберт Олливант снял на Уимпол-стрит, и, расставленные там по указаниям миссис Олливант, сделали лондонский дом почти таким же мрачным, темным и старомодным, как тот, где прошло детство Катберта. Хотя и саму

Уимпол-стрит вряд ли можно было назвать яркой или веселой. Ее длина приводила случайного прохожего в отчаяние и совершенно не соизмерялась с шириной, из-за чего тень по ту сторону дороги угрюмо нависала над фасадами домов, отвернувшихся от полуденного солнца. Однако место было чрезвычайно респектабельное, даже фешенебельное — во всяком случае, относилось к Вест-Энду; и доктор Олливант, который получил ученую степень в Париже и теперь стремился к тому же самому в Лондоне, выбрал эту улицу местом своей работы. Он больше не был связан с Бетнал-Грин, но ежедневно, с восьми до десяти утра, бесплатно принимал своих былых пациентов. В первый год его жизни на Уимпол-стрит они составляли практически всю его практику. Затем мало-помалу слава о нем разошлась; во время путешествий по континенту он выбрал своей специализацией лечение сердечных заболеваний, написал небольшую книгу на эту тему и опубликовал ее в Лондоне и Париже. Благодаря этому он привлек внимание многих праздных людей, надумавших себе болезни сердца, и нескольких действительно от них страдавших. К нему приходили богатые старые леди и джентльмены, которые жили одни и чересчур хорошо; им нравились его манеры — серьезная и несколько холодная сдержанность, которая была, однако, вежливой и подразумевала глубокую мудрость, — и они выбирали его своим лечащим врачом. Научные труды «Олливант о сердечных заболеваниях» и «Олливант об аускультации» стали почти образцовыми. Одним словом, Катберт Олливант преуспел и к тому времени, как

истекли первые пять лет аренды дома на Уимпол-стрит, создал себе положение, которое считал ступенькой к будущему признанию.

Мать жила теперь с ним, как когда-то он с ней в детстве, — рачительная хозяйка его дома, разумная собеседница в недолгие часы досуга. Крайняя приземленность любопытным образом сочеталась в ее характере с интеллектом и воображением. Она откладывала томик Вордсворта или Шелли, чтобы заказать ужин или составить список продуктов на неделю. Деньги сына она расходовала так, как не смог бы, вероятно, никто другой. За целый год миссис Олливант не позволяла пропасть впустую ни черствой корке, ни ложке жира; тем не менее ей удавалось сохранять уважение слуг и считаться щедрой хозяйкой. Простые ужины сына заказывались с благоразумием и готовились с изяществом, превзойти которое вряд ли удалось бы даже в клубе Вест-Энда. Каждая деталь сервировки была совершенством, хотя и без современного изящества: ни тонкое, почти прозрачное, стекло, ни богато расписанная майолика не украшали стол. Старомодные графины из резного хрусталя, громоздкие тарелки сверкали и сияли на белоснежном полотне, но лучшим украшением было лицо пожилой дамы — женской копии сына — с глубокими серьезными глазами и улыбчивым белозубым ртом.

Было половина десятого мокрого ноябрьского вечера; тяжелые капли дождя стучали по мансардному окну над головой у доктора. После ужина он еще час беседовал с матерью о литературе и политике, поскольку она считала своим долгом интересо-

ваться всем, что интересовало ее сына, и быть хорошо осведомленной в этих вопросах, а затем прошел к себе в комнату, чтобы взяться за последнюю научную книгу, достойную прочтения.

На чиппендейловском столике рядом с ним стоял старомодный серебряный чайник с чашкой на блюде. Наливая чай, доктор мысленно улыбнулся — не весело и чуть иронично — и подумал: «Уже обзавелся привычками старого холостяка: чашка чая и ночные штудии. С другой стороны, молодым я никогда и не был — в общепринятом смысле этого слова».

Своим чутким слухом он уловил двойной стук во входную дверь.

— Так обычно стучит извозчик, — пробормотал он с легкой досадой, бросив тоскливый взгляд на открытую книгу. — Какой-то незванный гость зашел поболтать вечером, вот досада! А я-то хотел докопаться до сути идей этого господина.

«Этим господином» был автор книги, внушительного тома страниц на пятьсот, половина из которых была еще не разрезана.

Доктор Олливант не отличался развитыми социальными инстинктами; тем не менее, как он говорил матери, «нельзя идти по жизни без того, чтобы не нашлись люди, которые настаивают на знакомстве с тобой», а некоторые из этих людей оказались достаточно упрямыми, чтобы держаться с доктором на дружеской ноге, не спросив его мнения, — эдакие самопровозглашенные приятели. В основном к ним относились его коллеги. Два-три раза в год он приглашал их на ужин и время от времени терпел вечерние визиты, но не поощрял заглядывать чаще.

Пожилой слуга, который был доверенным секретарем его отца и переехал из Лонг-Саттона вместе с мебелью, принес ему карточку. Бросив на нее равнодушный взгляд, доктор Олливант просиял внезапной радостью.

— Марк Чамни! Подумать только! — мечтательно воскликнул он и обернулся к слуге: — Немедленно проводи этого господина сюда!

Он яростно поворошил угли в камине (любимая форма проявления радушия у мужчин), а затем пошел к двери навстречу гостю.

Мистер Чамни был его школьным товарищем двадцать с лишним лет назад, когда Катберт учился в частном интернате в западном графстве, и его лучшим другом в те времена, когда он еще верил в дружбу.

Нежданный гость шагнул из тусклого коридора под яркий белый свет кабинета. Высокий мужчина из тех, кого называют долговязыми, с длинными болтающимися руками и мертвенно-бледным лицом, которое было бы совершенно уродливым, если бы не глаза: кроткие и нежные, как у женщины.

Это был Марк Чамни, его защитник в минувшие дни, на четыре года старше доктора. Тогда Чамни был неуч и спортсмен. Катберт, хрупкий юноша четырнадцати лет, толковал Гомера и Вергилия своему другу, чье своевременное вмешательство защищало младшего мальчика от школьных хулиганов.

Катберт, и сам не лишенный мужества, боготворил Марка как воплощение силы и храбрости — как